

Российская деревня и аграрные реформы в зеркале микро- и макроистории

Игорь Христофоров

Аграрные реформы, как и реформы вообще, в современной российской историографии, бесспорно, являются одной из приоритетных тем. Связано это с нынешним обострённым вниманием историков, социологов и экономистов к историческому опыту модернизации страны. По крайней мере со времен горбачёвского «ускорения» необходимость сделать экономику и государственные институты более современными и конкурентоспособными неизменно фигурирует в «повестке дня» отечественной правящей элиты. Меняется режим, меняются (в гораздо меньшей степени) люди, но лозунг «модернизации» по-прежнему в ходу, а значит, можно с уверенностью прогнозировать, что количество трудов по истории российских реформ будет в нашей историографии лишь расти.

В западных гуманитарных и социальных науках ситуация с этой тематикой существенно иная. Конечно, и здесь политики, бюрократы и близкие к ним эксперты выражают неизменный профессиональный оптимизм по поводу потенциала прогрессистских реформ. Однако в *науке* давно осталась позади бывшая популярность универалистской модернизационной парадигмы, как, впрочем, и мода на стремление скорректировать её универсализм с помощью акцента на «национальной специфике». Давно пришло и осознание политической и идеологической ангажированности самих попыток представить реформы стержнем исторического процесса, а технократическую элиту – его демиургом¹. Востребованный у нас ныне жанр историописания – политизированная «большая история» о неуклонном продвижении страны благодаря усилиям государственных мужей по магистральному общечеловеческому пути развития, но с учётом «цивилизационных особенностей» России – чаще всего воспринимается западными учеными как крайне архаичный (каковым он и является). Конечно, это не исключает появления новых работ в данном жанре, особенно в сфере политологии и традиционной историографии. По своему характеру они более понятны массовой аудитории, но в профессиональной среде часто вызывают скепсис.

Значит ли это, что историей реформ в западной историографии России сейчас заниматься не модно и не принято? Конечно, нет. Однако угол зрения на реформы, их контекст и акторов по сравнению с 1970–1980-ми гг., когда эта тематика была доминирующей, принципиально изменился. В первые послевоенные десятилетия отсталость дореволюционной России (на преодоление которой, собственно, и были нацелены реформы) воспринималась как нечто абсолютное и само собой разумеющееся. Объясняли же её особенностями политической культуры и менталитета элиты и населения страны. В 1960–1980-е гг. (хронология сугубо условна) эта отсталость рассматривалась уже как относительная (стадиальная), причём считалось, что вызвана она была скорее ситуативными и внешними факторами и в целом успешно (хотя недостаточно быстро) преодолевалась благодаря инициативной роли государственной власти и активности формировавшегося гражданского общества. Именно этот взгляд, кстати, сейчас наиболее популярен у российских специалистов. Причина понятна – он очень удобен для актуализации и политизированного прочтения. В новейшей же западной

© 2013 г. И.А. Христофоров

¹ См.: *Scott J. Seeing like a state: How certain schemes to improve human conditions have failed.* Princeton, 1998. Русский перевод: *Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни.* М., 2005.

историографии, – и в этом её несомненный потенциал, – мало что принимается на веру. Рефлексии и проверке фактами подвергаются любые устоявшиеся объяснительные модели и категории. В центре внимания неизбежно оказываются при этом пограничные и трансграничные институты, процессы и состояния, а подвижности и текучести явно отдаётся предпочтение перед статикой.

Очень характерна в данном отношении одна из недавних статей известного французского историка и экономиста, профессора Школы высших социальных исследований в Париже Алессандро Станциани, в которой предлагается новое видение сложного клубка историографических проблем, обусловленных представлениями об отсталости и «периферийности» России по отношению к «образцовой» Западной Европе (в качестве последней, как справедливо замечает автор, обычно выступает Британия эпохи промышленной революции). В этой работе критикуется не только институциональная теория «догоняющего развития», предложенная в своё время Александром Гершенкроном², но и более современные концепции, связанные с «антропологическим поворотом» в историографии и так называемыми *subaltern studies* (неомарксистской критикой неявных форм доминирования и зависимости)³. Статья является частью ещё более амбициозного проекта, в рамках которого Станциани, насколько можно судить по его последним публикациям, намерен подвергнуть деконструкции сложившиеся в последние десятилетия представления о развитии европейских экономических институтов и месте России в этом процессе. В определённой мере его проект касается и истории аграрных реформ, на чём я чуть подробнее остановлюсь ниже. В основе же его – именно идея об отсутствии чётких границ между свободой и крепостничеством, вольнонаёмным и принудительным трудом, Европой и остальным миром⁴.

Реформы – благодарный материал для деконструкции. Так, уже на самом поверхностном уровне анализа становится ясно, что восприятие реальности у реформаторов, реформируемых и историков никогда не совпадает. Кроме того, в среде реформируемых есть как несогласные, так и безгласные. И если первых лишь клеймят за «реакционность» или «радикализм», то реальность, в которой живут последние, гораздо менее доступна исследователям и потому ещё легче искажается. Рефлексии ныне всё чаще подвергается не только риторика преобразователей, которую порой просто воспроизводят историки⁵ (причём выясняется, что все российские реформаторы драматизировали прошлое, демонизировали противников и объявляли, что действуют во имя понятного лишь немногим «общего блага»). Критическое переосмысление затрагивает также все стадии процесса преобразований: от складывания так называемых «объективных предпосылок» до реализации и конечных результатов реформ⁶.

² См. классическое издание: *Gershenkron A. Economic backwardness in historical perspective.* Cambridge, Mass., 1962.

³ Станциани А. Взаимное сравнение и история. Некоторые предложения, подсказанные изучением российского материала // *Ab imperio*. 2011. № 4. С. 35–56.

⁴ См., в частности: *Stanziani A. Serfs, slaves, or earners? The legal status of labour in Russia from a comparative perspective, from the sixteenth to the nineteenth century* // *Journal of global history*. 2008. № 3. P. 183–202; *idem. Free Labor – Forced Labor: An Uncertain Boundary? The Circulation of Economic Ideas between Russia and Europe from the 18th to the Mid-19th Century?* // *Kritika*. Vol. 9. 2008. № 1 (Winter). P. 27–52; *idem. Revisiting Russian serfdom: bonded peasants and market dynamics, 1600s–1800s* // *International labor and working-class history*. 2010. № 78. P. 12–27. Остается правда, не совсем ясным, какова источниковая основа для подобной ревизии устоявшихся взглядов: в опубликованных статьях французский историк опирается главным образом на вторичные источники.

⁵ См., например: *Macey D.A.J. Stolypin is risen! The ideology of agrarian reform in contemporary Russia* // «The farmer threat»: The political economy of agrarian reform in Post-Soviet Russia. Boulder, 1993. P. 97–120.

⁶ См. об этом, например: *Большакова О.В. Между двумя юбилеями: англоязычная историография отмены крепостного права* // *Российская история*. 2011. № 4. С. 14–26; *она же. Аграрные реформы Столыпина в современной англоязычной историографии* // *Российская история*. 2012. № 2. С. 164–172.

На мой взгляд, этот процесс очень плодотворен для достижения более разностороннего, свободного от схематизма понимания прошлого, и можно лишь сожалеть, что многие российские специалисты, в том числе занимающиеся реформами и «крестьянским вопросом», судя по их работам, не очень хорошо знакомы с современной зарубежной литературой. Данная статья может лишь в небольшой степени восполнить такой пробел. Её цель – не исчерпывающий анализ всей совокупности недавних западных работ по истории «аграрного вопроса» в России, а выявление некоторых наиболее характерных тенденций в этой сфере на примере нескольких очень непохожих друг на друга исследований.

«Институциональная структура российского крепостного права»⁷ – первая монография профессора Калифорнийского технологического института Трейси Деннисон, однако она уже получила очень благоприятные отклики коллег, а диссертация, ставшая основой книги, удостоилась престижного приза имени А. Гершенкрона, присуждаемого Ассоциацией экономической истории. Секрет успеха работы заключается в том, что Деннисон удалось ясно и убедительно показать, как реально функционировала крепостная экономика в российской деревне конца XVIII – первой половины XIX в. Таким образом, книга посвящена не самим реформам, а объекту реформирования – крепостнической системе. Однако рассмотрение её в рамках историографии реформ представляется мне абсолютно логичным. Только детальное воссоздание того, как «работали» социально-экономические институты, может, наконец, вывести изучение реформ на новый уровень, за пределы бесконечного пересказа проектов и «замыслов».

Споры о том, загнивало или процветало крепостничество в последние полвека своего существования, как известно, велись ещё в дореволюционной историографии. Характерными чертами большинства исследований на эту тему были взгляд «с высоты птичьего полета» и убеждение их авторов в том, что именно макромоделли соответствуют масштабу самой проблемы. Деннисон идёт принципиально иным путем, отказываясь, по её собственным словам, «создавать или проверять какую-нибудь новую или интересную теорию институционального развития». «Напротив, – пишет она, – книга появилась благодаря моей неудовлетворённости отсутствием связи между такими теориями и чем-то более конкретным и опознаваемым. Моя книга не имеет ничего общего с масштабными теориями. Вместо этого я пытаюсь взглянуть на институты снизу, глазами деревенских жителей, со всеми их повседневными заботами. Такая картина предреформенной России напоминает миниатюру, а не огромное полотно»⁸.

Нельзя не согласиться с автором, что только таким путём историки могут «обрести почву под ногами» и наполнить реальным смыслом многие расплывчатые и стертые понятия (прежде всего само «крепостное право»). Перед нами – классическое микроисторическое исследование, объект которого – имение Шереметевых Вожажниково в Ростовском уезде Ярославской губ. (около 4 тыс. душ и 12 тыс. десятин). И по размерам, и по роду занятий крепостных это была в чём-то типичная для региона относительно крупная вотчина со смешанным типом занятости крестьян (этим она принципиально отличалась от знаменитых протоиндустриальных владений тех же Шереметевых, например, Иваново).

Основной источник работы – документы вотчинного делопроизводства из фонда владельцев (РГАДА, ф. 1287): ревизские сказки, подворные описи, инструкции и распоряжения центральной канторы («домовой канцелярии») Шереметевых в Петербурге, переписка между нею и вожажниковским вотчинным правлением, решения общинных сходов, паспортные списки, петиции, договора, приходно-расходные книги, а также приходская документация из Государственного архива Ярославской обл. (имение включало в себя 6 приходов). Деннисон – специалист по экономической истории, и в центре её внимания находится хозяйственное поведение крепостных и обуславливавшие его институты и практики. Анализу подвергаются устройство домохозяйств и семейная

⁷ *Dennison T. The Institutional framework of Russian serfdom. Cambridge, 2011.*

⁸ *Ibid. P. IX.*

экономика, сельская община, оборот движимой и недвижимой собственности, рынок труда, роль сбережений и кредита, потребительский рынок и структура потребления крестьян.

Уже из этого перечня вырисовывается определённая позиция автора. Вопреки множеству влиятельных специалистов-крестьяноведов она отказывается рассматривать хозяйственные практики крестьян как что-то вне рыночное, подчиняющееся особым законам «моральной экономики». Более того, пафос книги – именно в ревизии такого взгляда, именуемого автором «крестьянским мифом». История формирования этого мифа и те искажения, которые он на разных этапах своего существования вызывал в восприятии крестьян элитой (в том числе историками), характеризуются довольно бегло. Деннисон обоснованно полагает, что у его истоков стояли барон Август фон Гакстгаузен, А.И. Герцен и славянофилы, а позже он был развит народниками и неонародниками (в числе последних особая роль принадлежала А.В. Чаянову). Эта тема является не стержнем исследования, а скорее его лейтмотивом, придающим книге полемическую остроту и одновременно цельность. Она также заметно отличает труд Деннисона от сходных по тематике работ Питера Цапа, Родни Бохэка, Стивена Хока (не говоря уже об отечественных исследованиях В.А. Александрова, Л.С. Прокофьевой и др.), также основанных на дореформенных вотчинных архивах⁹.

Стоит отметить, что ревизионистская заявка Деннисона хотя и не уникальна¹⁰, но достаточно резко противопоставляет её работу «мэйнстриму» зарубежной историографии, где парадигма «моральной экономики» пользуется большим влиянием благодаря своему релятивизму и политической корректности, а также авторитету британского историка-марксиста Эдварда Томпсона и «крестьяноведов» (социологов и антропологов) Джеймса Скотта, Эрика Вольфа и Теодора Шанина, в 1960–1970-х гг. воскресивших и переосмысливших чаяновскую концепцию. По совершенно иным причинам, связанным со всплеском неоромантического национализма, она сейчас очень популярна и в России, где ссылки на «особый менталитет» русских крестьян стали общим местом и в академических трудах, и в околонучной публицистике.

Многие сторонники парадигмы «моральной экономики» скорее постулируют её, чем доказывают, и подобный метод обращения с реальностью вызывает у Деннисона закономерный протест. По вывернутой наизнанку марксистской логике, замечает она, такие исследователи рассматривают хозяйственную этику крестьян как «базис», а экономические институты, помещичью власть, крепостническую систему в целом – как

⁹ *Czap P.Jr.* The perennial multiple family household, Mishino, Russia 1782–1858 // *Journal of Family History*. 1982. Vol. 7. P. 5–26; *idem.* A large family: the peasant's greatest wealth: serf households in Mishino, Russia, 1814–1858 // *Family forms in historic Europe*. Cambridge, 1983. P. 105–151; *Bohac R.* Family, property and socioeconomic mobility: Russian peasants on Manuilovskoe estate, 1810–1861. Unpublished PhD diss. University of Illinois at Champaign-Urbana, 1982; *Хок С.* Крепостное право и социальный контроль в России: Петровское, село Тамбовской губернии. М., 1993; *Александров В.А.* Сельская община в России (XVII – начало XIX вв.). М., 1976; *он же.* Обычное право крепостной деревни России XVIII – начала XIX в. М., 1984; *Прокофьева Л.С.* Крестьянская община в России во второй половине XVIII – первой половине XIX в. (на материалах вотчин Шереметевых). Л., 1981.

¹⁰ См., например: *Brass T.* Peasants, populism and postmodernism. The return of agrarian myth. L., 2000. Примечательно, что эта книга написана многолетним редактором журнала «*Peasant Studies*», основанного в начале 1970-х гг. при непосредственном участии Т. Шанина на волне интереса к творчеству Чаянова, которого Деннисон считает одним из создателей «крестьянского мифа». Будучи неомарксистом, Брасс рассматривает миф об «уникальной крестьянской культуре» как реакционное явление, прямо связанное с национализмом и постколониализмом. Более близкий к нашей стране пример – одна из последних книг известного специалиста по аграрным реформам в постсоветской России Стивена Вегрена: *Wegren S.K.* The moral economy reconsidered: Russia's search for agrarian capitalism. N.Y., 2005. Монолитность крестьянства, якобы совокупно противостоявшего внешнему давлению, оспаривал в своей работе о коллективизации и Джеймс Хьюз: *Hughes J.* Stalinism in a Russian province: collectivization and dekulakization in Siberia. Basingstoke, 1996.

надстройку, которая почти ни на что в жизни деревни не влияла¹¹. По мнению же Деннисон, поведение крестьян вовсе не диктовалось их приверженностью каким-то вне-временным духовым ценностям и моральным ориентирам, а было вполне рациональным ответом на условия их жизни. Рынок и рыночная мотивация не просто вторгались в жизнь деревни извне, как это представляется сторонникам «крестьянского мифа», они являлись средой, в которой крепостные чувствовали себя столь же естественно, как рыба в воде. Другое дело, что в дореформенной (и, добавлю, пореформенной) деревне рыночные отношения были довольно специфичны, деформированы крепостным правом, а затем его пережитками. Именно эту реальную специфику, а не мифический «уникальный менталитет» крестьян и следует скрупулёзно изучать, считает Деннисон, и с таким мнением трудно спорить.

Картину социально-экономических реалий Вошажниково, предстающую перед нами в книге, можно считать в чём-то знакомой, а в чём-то поразительно новой. Остановимся на некоторых хрестоматийных параметрах. Прежде всего несостоятельной для Вошажниково оказывается классическая демографическая модель русской крестьянской семьи («большая», или «сложная» патриархальная семья с ранней и почти всеобщей брачностью). Средний размер семьи в этом имении был существенно ниже, чем в чернозёмных имениях кн. Гагариных Мишино и Петровское, изученных в своё время Цапом и Хоком. В Вошажниково преобладали простые семьи и довольно велика была доля безбрачных. Принципиально важна и слабая корреляция между размером семьи и уровнем её благосостояния, опровергающая универсальность классической чаяновской модели.

Напрашивается объяснение этих отличий спецификой Нечерноземья, однако Деннисон подвергает его сомнению: в имении тех же Гагариных Мануйловское в Тверской губ., как показал Бохэк, демографическое поведение крестьян было вполне «чернозёмным». Логичным поэтому выглядит заключение об очень большом влиянии на демографию не географии, а вотчинной политики. В Вошажниково она была не прямолинейно-запретительной, а достаточно гибкой. Главным средством демографического регулирования выступал здесь квазирыночный инструмент: деньги. С помощью системы взысканий владельцы предоставляли крепостным подобие свободы выбора: или сохранять стабильные крепкие хозяйства (в которых для исполнения рекрутской повинности должно было быть не менее двух взрослых мужчин), или подвергаться денежным штрафам. Хочешь выделиться и организовать новое семейное хозяйство, хочешь оставаться одиноким – плати (если, конечно, можешь себе это позволить).

Такая политика во многом мотивировалась очень значительной имущественной дифференциацией в крестьянской среде. Владельцы, отказавшись от «уравниловки», разделили хозяйства своих крепостных на три категории по стоимости их имущества: менее 500, от 500 до 1 тыс. и свыше 1 тыс. руб. (впрочем, существовали и семьи, имущество которых оценивалось в десятки тысяч рублей). Различные владельческие платежи и штрафы взымались в зависимости от состоятельности семьи, по своеобразной «прогрессивной шкале». Примечательно, что эта политика не имела целью и не вызывала нивелировку благосостояния крестьян: богатые семьи, подчеркивает Деннисон, оставались таковыми на протяжении нескольких поколений.

Нам едва ли удалось бы верно оценить состояние крестьянского хозяйства в Вошажниково, пользуясь традиционными для нашей историографии критериями (урожайность, обеспеченность землёй и скотом). Автор показывает, что урожайность зерновых была в имении стабильно низкой, но убедительно объясняет это не перманентным хозяйственным кризисом, а незаинтересованностью крестьян в инвестировании в эту сферу средств и труда. Для них гораздо выгоднее было зарабатывать деньги торговлей и промыслами, а недостающее зерно покупать на рынке¹². Именно поэтому периодические жалобы крестьян на неурожай вовсе не означали, что обитатели Вошажниково

¹¹ *Dennison T. Op. cit. P. 15.*

¹² *Ibid. P. 36.*

голодали: Деннисон отмечает отсутствие сведений о недостатке продовольственного и посевного зерна, просьб о продовольственной помощи и т.п., что неудивительно: всего 5–10% населения имения (причём не самая богатая его часть) жили за счет сельского хозяйства. Соответственно, очень велик (около 25%) был процент хозяйств, не имевших лошадей и коров, но вопреки логике, хорошо известной нам по трудам советских историков, эти хозяйства совсем не обязательно были обнищавшими.

Тем не менее, стремясь подстраховаться, Шереметевы строго следили за тем, чтобы вся удобная земля в имении обрабатывалась. В процессе внутриобщинных переделов она распределялась между отдельными хозяйствами в соответствии с их тягелоспособностью. Богатые (но не самые большие!) семьи, как правило, получали более крупные наделы, которые, однако, были для них не благом, а повинностью. Многие предпочитали для обработки наделов нанимать рабочую силу среди односельчан или на стороне. «Рыночным» способом отбывалось и большинство натуральных повинностей: скажем, крестьяне не сообща ремонтировали дороги и мосты, а делали в мирской капитал взносы, которые шли на найм рабочих. Столь же «монетизированы» были и отбывание рекрутской повинности, и внутриобщинная социальная помощь (причём сама община выделяла на неё средства крайне неохотно, зачастую под давлением вотчинной конторы)¹³.

Эта совсем не патриархальная картина дополнена в книге детальным анализом того, как функционировала в Вошажниково крестьянская община. Реальность и здесь была очень далека от «крестьянского мифа». Роль стариков в решении общинных дел была, судя по всему, маргинальной, и типичный крестьянский выборный больше напоминал оплачиваемого менеджера, чем умудрённого опытом седовласого *pater familias*. Богатые крестьяне избегали таких должностей, поскольку они лишали их свободы ведения собственных дел¹⁴. Вместе с тем они не собирались и устраниваться от влияния на выборных, что делало внутриобщинную политику ареной клановой борьбы, решающую роль в которой играли «сельские олигархи»¹⁵. Вообще конфликты в общине явно преобладали над проявлениями социальной гармонии¹⁶. Этот вывод Деннисон подкрепляется другим: о том, что крепостные в разрешении внутриобщинных споров охотнее прибегали к формальному суду вотчинной конторы, чем к обычному праву¹⁷. Таким образом, перед нами предстаёт сообщество не внутренне спаянное, а глубоко дифференцированное, не противостоящее помещику как единое целое, а ищущее у него (за неимением другого арбитра) суда и защиты.

Социальная дифференциация в крестьянской среде и рационально-экономическая мотивация поведения крепостных возникли не на пустом месте. Рыночные институты складывались в русской деревне во многом стихийно и вопреки ограничениям крепостного права, но это не делало их менее реальными. Деннисон убедительно показывает, что крепостные Вошажниково (причем порой не самые богатые) активно покупали, продавали и сдавали в аренду землю на стороне, в том числе в других уездах и губерниях. Главным их мотивом было при этом не компенсировать нехватку общинной земли, а относительно надёжно инвестировать свои сбережения. Надёжность обеспечивал вотчинник: земля покупалась на его имя, и Шереметевы неукоснительно соблюдали права крестьян как фактических собственников. Руководствовались они при этом, видимо, также вполне рациональными резонами: покупка таких участков облагалась многочисленными поборами и приносила вотчиннику немалый доход. Надо ли говорить, что эти выводы в корне подрывают рассуждения об «антисобственническом менталитете» русских крестьян, которые были столь распространены в XIX в. и до сих пор пользуются кредитом доверия у многих историков?

¹³ Ibid. P. 113–120.

¹⁴ Ibid. P. 100–103.

¹⁵ Ibid. P. 129–130.

¹⁶ Ibid. P. 127–128.

¹⁷ Ibid. P. 122–123.

Аналогичным образом крестьяне являлись активными участниками рынка рабочей силы, нанимаясь на работу порой в самых отдалённых уголках империи и, в свою очередь, нанимая подёнщиков, слуг, а порой и покупая (подобно земле, на имя помещика) собственных крепостных. Неудивительно, что в их среде гораздо более широко, чем допускает хрестоматийное представление о крепостной экономике, были распространены и кредитные сделки. Как и прочие, они очень часто заключались в письменной форме, относительно надёжно обеспечивавшей их соблюдение сторонами, причём арбитром и здесь выступала вотчинная контора. Поэтому, кстати, крепостным Шереметевых охотно давали ссуды за пределами имения (на них легко было найти управу), однако сами они по отношению к внешним контрагентам редко выступали в качестве кредиторов.

Какие же выводы позволяет сделать проведённый Деннисон всесторонний анализ микроэкономики Вожажникова? Несложно заметить, что все рассматриваемые в книге квазирыночные институты были «завязаны» на вотчинника. В случае Шереметевых крестьяне имели дело с централизованной и упорядоченной системой управления, в которой вотчинник выступал сразу в двух ролях: «регулятора» (суррогата государственной власти) и «бенефициара» (получателя дохода от имущества). Лишь благодаря своим колоссальным ресурсам Шереметевым удалось играть обе роли относительно непротиворечиво (поддерживать стабильность и предсказуемость установленных правил, делать долговременные инвестиции в инфраструктуру, не гоняясь за сиюминутной выгодой).

В целом же для крепостной России такая ситуация была скорее исключением (хотя, возможно, и не столь редким, как принято считать¹⁸), чем правилом. Существенно иными были условия в барщинных имениях Черноземья и даже там, где барщина хотя и не доминировала, но играла важную роль в структуре крестьянских повинностей. Сравнивая книгу Деннисон с аналогичными работами по барщинным имениям, трудно избавиться от впечатления, что Россия подобно Соединённым Штатам времён существования рабства была расколота на две части: динамично развивавшийся «Север» и более патриархальный, застойный, экономически однобокий «Юг». Как и в США, разница между двумя мирами была не столько географической, сколько институциональной. Правда, в отличие от заокеанского двойника, в нашей стране границу между ними совсем непросто прочертить на карте и тем более соотнести со сторонами света.

Впрочем, может быть, корректнее говорить не о двух, а о нескольких моделях развития (на память не без основания приходит известная теория «многоукладности», разработанная отечественными историками применительно уже к пореформенной экономике¹⁹)? По мнению А. Станциани, единого и монолитного крепостного права никогда не существовало ни в России, ни в других странах, а «феодалная зависимость» повсюду была гораздо более гибкой и податливой на перемены, чем принято считать. Соответственно, следует говорить не о линейном «переходе от феодализма к капитализму», а о «длительной эволюции сложных систем, в рамках которой сосуществовали “свобода” и “несвобода”, принудительный труд и рынок». Более того, вопреки сложившемуся мнению, принудительный труд и даже рабство были вполне совместимы с рынком, инновациями и капитализмом²⁰.

Действительно, в истории можно отыскать немало примеров такого совмещения – вот только все они, на мой взгляд, относятся либо к маргинальным, либо к обречённым на вымирание и трансформацию сегментам экономики. Тот очевидный факт, что бар-

¹⁸ См.: Melton E. Enlightened seigniorialism and its dilemmas in serf Russia, 1750–1830 // *Jornal of Modern History*. 1990. Vol. 62. № 4.

¹⁹ См. о ней: Анфимов А.М. К вопросу о характере аграрного строя Европейской России в начале XX века // *Исторические записки*. Т. 65. М., 1959; он же. Неоконченные споры // *Вопросы истории*. 1997. № 5. С. 49–72; Особенности аграрного строя России в период империализма. М., 1962.

²⁰ Stanziani A. Revisiting Russian serfdom... P. 13, 18–20.

щинные имения в России, как и плантации рабовладельцев в США, работали на рынок, вовсе не означает, что те и другие были рыночными институтами. С другой стороны, нельзя не согласиться со Станциани, что наши представления о «норме» не являются чем-то самоочевидным и нуждаются в рефлексии и тщательной верификации. Ещё одна важная мысль французского историка: не только складывание, но и исчезновение того, что мы называем «крепостным правом», – крайне сложный, многоуровневый и длительный процесс. Крепостное право нельзя было просто «отменить», и политический лексикон, к которому мы привыкли, не должен подменять анализа всей сложности трансформационных процессов.

Так или иначе, выясняется, что мы на удивление мало знаем о реалиях самого крупного в XVIII–XIX вв. сектора российского народного хозяйства. Были ли более полными знания творцов аграрных преобразований XIX и начала XX в., и в первую очередь – отмены крепостного права? Ведь если «крепостное право» – не более чем ярлык, понятие, за которым скрывалась разнородная и несводимая к единой модели реальность, то можно ли было в принципе преобразовать его с помощью одной-единственной реформы?

История дала достаточно двусмысленный ответ на последний вопрос. По отношению к великорусской деревне реформа 1861 г. была не просто единой, но ещё и обладала колоссальным унификаторским потенциалом. Механизм её реализации очень жёстко ограничивал свободу выбора и для бывших крепостных, и для их владельцев. Первые принуждались выкупать, а вторые – уступать определённое количество наделной земли за определённую сумму. Подразумевалось, что именно привязкой крестьян к их наделам будет гарантировано их благосостояние на будущие времена²¹. Однако, например, для большинства крестьян Вожажниково такой исход явно был хуже безземельного освобождения. Существенно ограничивая инициативу бывших крепостных (во многом из-за априорного недоверия к их хозяйственной «вменяемости»), реформа 1861 г. если и не подавляла, то вряд ли давала простор для развития того динамичного хозяйственного уклада, который сложился во многих имениях при крепостном праве. Именно поэтому аграрная политика правительства спустя пару десятилетий после освобождения крестьян зашла в явный тупик, выход из которого наметился лишь в начале XX в., при П.А. Столыпине. Таким образом, одной реформы для преобразования русской деревни оказалось всё-таки недостаточно. Однако и вторая волна аграрных преобразований пошла, уже на свой лад, по пути жёсткой унификации и навязывания крестьянам «сверху» того, что американский историк Джордж Яни назвал в своё время «столичными представлениями» об эффективном сельском хозяйстве²². За сорок лет изменились эти представления, но не уверенность элиты в своей компетенции и безграничном преобразовательном потенциале²³.

Современные историки также гораздо больше знают о предрассудках и стереотипах обитателей столичных редакций и канцелярий, чем о том, к чему вытекавшая из этих стереотипов политика вела в том или ином уголке страны. За полтора века собрано много агрегированных, усреднённых данных о величине отрезков, наделов и повинностей, об объёмах аренды и урожаях зерновых (теперь вот ещё и о «длине тела» крестьян). Но качественных и комплексных микроисследований реальных крестьянских хозяйств в пореформенную эпоху крайне мало. Было бы,

²¹ См.: Христофоров И.А. Судьба реформы: русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011. С. 101–177.

²² См.: Yaney G.L. The urge to mobilize: agrarian reform in Russia, 1861–1930. Urbana, 1982. См. также: Коцюнис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914. М., 2006.

²³ См.: Holquist P. «In accord with state interests and the people's wishes»: the technocratic ideology of Imperial Russia's resettlement administration // Slavic Review. Vol. 69. № 1. Spring 2010. P. 151–179.

например, очень интересно выяснить, что происходило в Вошажниково в 1860–1880-х гг., и если Трейси Деннисон возьмётся за такое исследование, нельзя не пожелать ей успеха.

Вместе с тем и в исследовании «политики власти» в деревне накопилось немало неясного и спорного. Здесь, кстати, также возможен как «макро-», так и «микроподход». В первом случае в центре внимания исследователя оказывается вся череда аграрных реформ в России и мире на протяжении, скажем, XVIII–XXI вв. (хотя историю этих реформ в принципе можно начинать и с братьев Гракхов). Во втором – нюансы и детали того или иного вполне конкретного преобразования. Как и в работах, касающихся социально-экономической истории, макроподход оправдан и необходим, но должен опираться на солидную базу множества микроисследований, в противном случае он рискует вылиться в поток отвлечённых рассуждений²⁴.

Имеется ли такая база применительно к России Нового и Новейшего времени? И да, и нет. Аграрные реформы в нашей стране, будь то реформа П.Д. Киселёва, отмена крепостного права, «контрреформы», столыпинская реформа, революционные преобразования 1917–1921 гг., коллективизация или деколлективизация, изучены очень неравномерно. Многочисленные исследования их политических аспектов довольно часто не «стыкуются» с социально-экономическим анализом их последствий. В свою очередь, экономисты-аграрники, как правило, не стремятся вникнуть в политический контекст реформ, представляя его довольно схематично. Это, кстати, касается как отечественной, так и зарубежной историографии. Лишь в последние годы в изучении этой тематики, на мой взгляд, наметилась некоторая перспектива преодоления дисциплинарных рамок.

Реформа 1861 г. по понятным причинам является краеугольным камнем для понимания последующих аграрных преобразований. Именно её особенности определили многие характерные черты развития и проблемы российской деревни. Этот факт признавался всегда и всеми. Другое дело, что и в публицистике, и в науке он почти всегда сводился к одному и тому же сюжету: крестьянам дали слишком мало земли, заставили заплатить за неё слишком много и опутали к тому же разнообразными «пережитками» прошлого, вытекавшими из сохранения помещичьего землевладения. Порой к этому мотиву присоединялся или вытеснял его другой: реформа 1861 г. сохранила общину и тем самым заблокировала возможность развития в деревне мелкой собственности. Когда же правительство спохватилось после 1905 г., было уже слишком поздно. В совокупности оба мотива служат незыблемым объяснением крестьянских движений и революций (в основе которых якобы неизменно лежала логика «чёрного передела»), а опосредованно – и послереволюционных перемен в деревне, вплоть до явно неудачной приватизации земли в постсоветской России.

На мой взгляд, такая картина грешит не только схематизмом, но и крайним детерминизмом. Это как если бы мы объясняли все особенности британской истории последних веков огораживаниями XVI–XVIII вв., французской – экспроприацией земли дворянства в ходе Великой революции. Несомненно, что и в российской истории гораздо больше нюансов, действующих факторов и «развилочек». А погружаясь в изучение того или иного сюжета, приходится порой усомниться в верности и базовых посылок мифов о «грабительской реформе» 1861 г., «будителе крестьянской инициативы» Столыпине и «крестьянской общинной революции» 1917–1920 гг.

Выясняется, в частности, что отмена крепостного права совершилась в целом на гораздо более благоприятных условиях для крестьян, чем принято считать²⁵, что в пореформенное время в их среде несмотря на разнообразные стеснения динамично

²⁴ Как это, к сожалению, произошло, например, с обширным по объёму и замыслу исследованием А.Н. Медушевского. См.: *Медушевский А.Н. Проекты аграрных реформ в России: XVIII – начало XXI века*. М., 2005.

²⁵ *Hoch S.L. Did Russia's emancipated serfs pay too much for too little land? Statistical anomalies and long-tailed distributions // Slavic Review. 2004. Vol. 63. № 2.*

развивались общегражданские представления о частной собственности²⁶ (тем более, что, как показала Деннисон, они совсем не были чужды и крепостному крестьянству), что столыпинская реформа была не столько «вторым раскрепощением» крестьян, как провозглашали её идеологи, сколько «административной утопией»²⁷, и т.д.

Но если в 1861 г. крестьяне не были ограблены и если общинный коллективизм – скорее миф, чем реальность, то что же тогда за «мины замедленного действия» были заложены в 1860-х гг. и что отмена крепостного права сделала для развития деревни, а чего сделать не смогла? По мнению известного американского историка-аграрника, профессора университета штата Вашингтон Стивена Хока, разрабатывая «Положения 19 февраля», реформаторы столкнулись с тремя главными препятствиями: политическими ограничениями (необходимостью следовать логике компромисса); отсутствием сколько-нибудь надёжных статистических данных об экономических реалиях в деревне, и, наконец, стремительно развивавшимся в 1857–1860 гг. банковским кризисом, который лишил государство возможности хотя бы частично профинансировать реформу²⁸. И если первый фактор в достаточной степени изучен в работах Д. Филда, Л.Г. Захаровой и М.Д. Долбилова²⁹, а последний – ещё 20 лет назад самим Хоком³⁰, то информационный вакуум, в котором разрабатывалась реформа – новая идея, которой как раз и посвящена недавняя статья историка. Упор в ней сделан на отсутствии в России общегосударственного кадастра, которое не позволило реформаторам вычислить реальную стоимость выкупаемой крестьянами земли и вообще проникнуть, так сказать, в «живую ткань» хозяйственного быта имений. Этим реформа кардинально отличалась от аграрных преобразований в германских странах, по образцу которых она была смоделирована. В результате, подчёркивает Хок, «Положения 19 февраля» не имели ясной стратегической цели и были подчинены логике решения «текущих проблем»: как немного облегчить положение крестьян, как при этом не разорить помещиков и не подорвать фискальную стабильность казны³¹.

Многофакторный подход к истории реформы можно только приветствовать. Правда, сосредоточившись на документах Редакционных комиссий, Хок не проанализировал множество иных источников, связанных с «проблемой информации» и, в частности, кадастра: материалов МВД, министерства государственных имуществ, Межевого корпуса и Императорского Русского географического общества. Упустил он из виду и то обстоятельство, что отсутствие информации всегда способствует расцвету разнообразных мифов, которые, в свою очередь, как бы «снимают» саму потребность в информации, подменяя рациональную мотивацию политики стереотипами и догмами. Именно так и произошло с крестьянской реформой: сетования на отсутствие данных быстро сменились в документах Редакционных комиссий признанием, что никакой кадастр России и не нужен, коль скоро под рукой такой саморегулирующийся институт,

²⁶ Frierson C. «I must always answer to the law...» Rules and responses in the reformed volost' court // Slavonic and Eastern European Review. Vol. 72. 1997. № 2; Popkins G. Code versus custom? Norms and tactics in peasant volost court appeals, 1889–1917 // The Russian Review. Vol. 59. 2000. № 3; Burbank J. Russian peasants go to court: legal culture in the countryside, 1905–1917. Bloomington, 2004.

²⁷ Pallot J. Land reform in Russia, 1906–1917: peasant responses to Stolypin's project of rural transformation. Oxford, 1999.

²⁸ Hoch S. The great reformers and the world they did not know: drafting the Emancipation legislation in Russia, 1858–1861 // Everyday life in Russian history: quotidian studies in honor of Daniel Kaiser. Bloomington, 2010. P. 248.

²⁹ Field D. The end of serfdom. Nobility and bureaucracy in Russia, 1855–61. Cambridge, Mass., 1976; Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011; Долбилов М.Д. Земельная собственность и освобождение крестьян // Собственность на землю в России: история и современность. М., 2002.

³⁰ Хок С. Банковский кризис, крестьянская реформа и выкупная операция в России. 1857–1861 // Великие реформы в России, 1857–1874. М., 1992. С. 95–105.

³¹ Hoch S. The great reformers... P. 274.

как крестьянская община. Именно в это время общепринятая до того задача рационализации аграрного строя и отношений собственности постепенно начинает вытесняться в «верхах» романтизацией общины и патриархального землепашца³².

Можно согласиться с Хоком, что основополагающей чертой, определившей распыляемость, неопределённость «Положений 19 февраля», была «административная недоуправляемость» крепостной деревни³³. Однако накануне и особенно после отмены крепостного права правительство не только не стремилось её преодолеть, но, напротив, делало всё для того, чтобы устраниваться от текущего административного контроля за происходящим под предлогами недопустимости вмешательства в «естественное развитие» деревни и соблюдения незыблемости «Положений», которые стали рассматриваться как самое значимое, «священное» произведение Царя-Освободителя. Лишь в конце 1870-х гг. начала признаваться необходимость корректировки «Положений» в смысле большего контроля за крестьянами, однако не в видах рационализации, а уже с прямо и недвусмысленно артикулировавшейся целью охраны в рамках общин (как своеобразных заповедников или резерваций) уникального патриархального быта русского народа³⁴.

Сама община воспринималась при этом лишь как оболочка, некий «контейнер», содержащий «живые исторические традиции» – коллективизм, чуждость духу наживы, руссоистскую естественность и простоту крестьян (консерваторы добавляли в этот список их «природный монархизм», а радикалы – столь же «природный» эгалитаризм). Она была не столько обязательным, сколько привычным элементом «крестьянского мифа». Не случайно уже в 1880–1890-х гг. в обществе и правительстве всё громче звучали голоса, что община мутировала, перестала быть патриархальной и поэтому нужно заменять её новым, более соответствующим условиям времени институтом (например, неотчуждаемой и неделимой семейной собственностью)³⁵. Отсюда уже не так далеко было до столыпинской реформы.

Было бы, конечно, довольно опрометчиво изучать реальные социальные процессы в деревне на основании перемен в общественных настроениях. Для исследования этих процессов больше подходят категории экономического анализа. Именно они лежат в основе недавнего обобщающего труда профессора Оксфордского университета Кэрл Леонард «Аграрная реформа в России. Дорога от крепостного права»³⁶. По названию трудно догадаться, насколько широки хронологические рамки работы, между тем они охватывают 1861–2010 гг. Таким образом, в отличие от Деннисон, Леонард занимается макроэкономикой. Основной сюжет книги – влияние реформ и институциональной среды на динамику производительности российского сельского хозяйства.

Автор опирается на богатейшую мировую экономическую литературу, посвящённую аграрным реформам в развивающихся странах. Надо сказать, что тема эта вот уже много десятилетий, по крайней мере, с начала распада колониальной системы после Второй мировой войны, неизменно остаётся в числе приоритетных не только для экономики, но и для социологии и политологии. Ставки в её изучении достаточно высоки: речь идёт о решении продовольственной проблемы, о борьбе с голодом и бедностью в глобальных масштабах. Правда, как отмечалось выше, учёные проявляют всё меньше оптимизма по поводу возможности создать универсальное «лекарство» для исцеления этих социальных болезней. Так, заключительная глава недавней обобщающей работы британского экономиста Майкла Липтона об аграрных преобразованиях носит характерное название «Действительно ли умерла земельная реформа?» (автор, естественно, приходит к выводу, что «слухи о её смерти сильно преувеличены»)³⁷. Особый скепсис

³² См. об этом: *Христофоров И.А.* Указ. соч. С. 134–149, 160–177.

³³ *Hoch S.* The great reformers... P. 259.

³⁴ *Христофоров И.А.* Указ. соч. С. 226–273, 292–323.

³⁵ Там же. С. 304.

³⁶ *Leonard C.* Agrarian reform in Russia. The road from serfdom. Cambridge, 2011.

³⁷ *Lipton M.* Land reform in developing countries. Property rights and property wrongs. Cambridge, 2009. P. 273–322.

вызывает у многих социологов и экономистов опыт проведения аграрных реформ на пространстве бывшего СССР³⁸. Так, Джессика Аллина-Пизано в недавней работе об аграрной политике последних двадцати лет в двух соседних областях России и Украины (Воронежской и Харьковской) приходит к печальному, но предсказуемому выводу, что неолиберальная фразеология о приватизации лишь прикрывала масштабный захват земельной собственности местной элитой обеих стран³⁹.

В этом контексте задача, которую ставит перед собой Леонард, – не столько проанализировать интересную историческую проблему, доведя повествование до современности, сколько посмотреть на нынешнее состояние российского сельского хозяйства сквозь призму его истории – представляется важной и актуальной. Книга написана не в нарративном, а в сугубо проблемном ключе, причём проблем затронуто очень много, что порой даже мешает восприятию текста. Можно, конечно, упрекнуть автора в недостаточном внимании к историческим деталям, например, к политико-идеологическому контексту преобразований и к субъективной мотивации реформаторов, а также в порой недостаточно развёрнутых и аргументированных параллелях между разными эпохами и реформами. Но, думается, такие упреки были бы не совсем справедливы. Достоинство книги – именно в масштабе анализа, который просто не мог позволить автору тщательно и с опорой на первоисточники выписывать детали многочисленных сюжетов. Я также сконцентрируюсь не на деталях, а на общих выводах работы.

В последние годы, отмечает Леонард, среди экономистов сложилось убеждение, что невозможно создать модель соотношения роста в промышленном и аграрном секторах, релевантную для всех стран и регионов. Раньше такой моделью считалась разработанная в 1950–1960-х гг. теория, согласно которой перемещение трудовых ресурсов из аграрного в промышленный сектор ведет к увеличению накоплений и способствует индустриализации, сопровождаясь сокращением расходов на питание рабочих и ростом экспорта. Однако существует слишком много специфических локальных факторов, препятствующих такому сценарию, и учёт их требовал бы создания чересчур сложных и неработоспособных эконометрических моделей⁴⁰.

С другой стороны, всё чаще ставится под сомнение универсальность сформулированной также примерно полвека назад концепции «зелёной революции». В соответствии с ней, в основе аграрной реформы должен лежать прежде всего технологический прорыв: использование современных высокоэффективных сортов растений, удобрений, пестицидов, новые методы ирригации⁴¹. Многолетний опыт применения этой концепции показал, что в развивающихся странах инновационные технологии часто не приживаются из-за неблагоприятной институциональной среды (особенностей права, государственного контроля, кредитной системы). Отсюда – внимание к институциональному обеспечению реформ в каждой отдельно взятой стране. Наиболее удачными считаются ныне такие аграрные преобразования, которые являются постепенными, технологически ёмкими и при этом опираются на максимальный набор не только агротехнических, но и институциональных инструментов (специальное образование, финансовая и техническая поддержка производителей, обеспечение прав собственности и т.д.), причём проводятся в фазе экономического роста⁴².

Однако в России аграрные реформы всегда разрабатывались и осуществлялись в условиях неблагоприятной политической и хозяйственной конъюнктуры. Кризисные условия определяли ограниченность и самих реформ, и их непосредственных резуль-

³⁸ См., например: Rural reform in post-Soviet Russia. Baltimore, 2002.

³⁹ Allina-Pisano J. The post-Soviet Potemkin village. Politics and property rights in the Black Earth. Cambridge, 2008. P. 189–200.

⁴⁰ Leonard C. Op. cit. P. 8–10.

⁴¹ См. классическую работу нобелевского лауреата Теодора Шульца: Schultz T. Transforming traditional agriculture. New Haven, 1964. Именно этими рекомендациями десятилетиями руководствовались аналитики Мирового банка, поддерживавшего аграрные реформы в азиатских, африканских и латиноамериканских странах.

⁴² Leonard C. Op. cit. P. 11–13.

татов. С одной стороны, экономическая стагнация означала сокращение инвестиций и сужение поля для приложения предпринимательской инициативы крестьян, что прямо подрывало базовые цели реформ. С другой – последующее циклическое смягчение остроты кризиса неизменно позволяло поднимать голову противникам преобразований, и за реформами следовал «откат» (контрреформы)⁴³. Неудивительно, что и общественное мнение, как правило, испытывало глубокое разочарование в результатах аграрных преобразований⁴⁴. Было ли оно обоснованным? Приводимые автором данные свидетельствуют, что рост в аграрном секторе наблюдался обычно лишь во втором десятилетии с начала преобразования. Возникает, правда, вопрос, был ли этот рост следствием той или иной реформы или же просто симптомом того, что экономика вступала в восходящую конъюнктурную фазу. Чтобы ответить на него, необходимо создавать сложные контрфактические (альтернативные) модели развития или хотя бы ставить вопрос об альтернативах, чего книге явно не хватает. Интересно, кстати, что у некоторых реформ нерыночного периода (хрущёвских, косыгинско-брежневских), которые от мировой конъюнктуры непосредственно не зависели, сценарий был, по данным самой Леонард, вроде бы обратным: быстрый успех (рост производственных показателей) вёл к сворачиванию государственных программ и стагнации в аграрном секторе⁴⁵.

Особое место в ряду рассматриваемых в книге поворотов в аграрной политике занимает, конечно, коллективизация. От всех прочих преобразований она отличалась тем, что ни риторически, ни фактически не предполагала стимулирования инициативы непосредственных производителей и была даже по социалистическим меркам иррационально разрушительной. С другой стороны, как и прочие реформы, коллективизация стала результатом хозяйственного и политического кризиса⁴⁶. Стоит заметить, что значение модели коллективизации, как показал в уже цитировавшейся работе Майкл Липтон, выходит далеко за пределы сталинского СССР. Липтон считает коллективизацию наиболее жёстким проявлением универсального «аграрного коллективизма», возникшего задолго до Сталина и являющегося, с одной стороны, утопическим проектом интеллектуальных элит, а с другой – ответом на реальные социальные контрасты и противоречия экономик переходного типа. Коллективизация стала, по его формулировке, «кошмарным объездным путём» (*terrible detour*) к модернизации сельского хозяйства. Очень интересна проводимая Липтоном параллель между коллективизацией и колониальными проектами XIX и первой половины XX в. в аграрной сфере. И там, и здесь обнаруживаются одни и те же характерные черты: укрупнение хозяйств, механизация, принудительное изъятие производимого продукта, массовые переселения и, в конечном итоге, – экономическое и социальное фиаско⁴⁷. Напрашивается вывод о том, что деревня была для коммунистических правительств подобием «внутренней колонии». Более интересной, впрочем, кажется мысль, что поздний колониализм был типологически близок к коммунизму, а в чём-то и превосходил утопические коммунистические проекты⁴⁸.

Однако вернёмся к книге Леонард. Структурно она делится на три части. В первой рассматриваются политический контекст преобразований, намерения реформаторов, процесс реализации и общие результаты реформ. Вторая посвящена институциональному контексту, в котором развивались реформы. Фактически, автор концентрируется здесь на двух проблемах: «правовом дуализме» в деревне (т.е. сосуществовании в ней общегражданского и обычного права) и формах предпринимательской активности в сельском хозяйстве в их связи с правовой и экономической инфраструктурой. Наконец, третья часть представляет собой попытку выявить долговременные тенденции в развитии технологий и динамике производительности аграрного сектора.

⁴³ Ibid. P. 5–6.

⁴⁴ Ibid. P. 21–22.

⁴⁵ Ibid. P. 74–80, 246–250.

⁴⁶ Ibid. P. 6–7, 68–73.

⁴⁷ Lipton M. Op. cit. P. 190–191.

⁴⁸ См. перекликающуюся с этой мыслью концепцию Дж. Скотта: *Скотт Дж.* Указ. соч.

Наибольший интерес вызвали у меня высказанные в книге мысли о некоторых константах в развитии российской деревни в дореволюционный, советский и постсоветский периоды нашей истории. Прежде всего это касается симбиоза крупного и мелкого землевладения и, соответственно, двух основных форм организации производства: с одной стороны – поместья, колхоза/совхоза, агропромышленной компании, с другой – мелкого семейного хозяйства, которое в советские времена съёжилось до «приусадебного участка». В этой схеме, отмечает автор, фактически нет места для независимого фермерского хозяйства. Фермерский тип предпринимательской активности был и остаётся в России маргинальным, несмотря на периодические декларации о его приоритетной поддержке. Основную причину этого Леонард видит (и здесь её взгляд пересекается с точкой зрения Деннисон), конечно, не в «менталитете» крестьян, а в институциональной среде, и прежде всего – в отсутствии надёжной системы фиксации и обеспечения на практике прав земельной собственности. «Виртуальность», сложность «овеществления» этих прав, отсутствие у собственности четких юридических, а порой и физических границ – всё это затрудняло и затрудняет приток инвестиций в сельское хозяйство, ограничивает предпринимательскую инициативу. И до, и после революции государство в России было гораздо больше озабочено обеспечением оседлости сельского населения, чем регулированием статуса собственности, справедливо указывает автор книги⁴⁹.

Обычное право, которое, по мнению Леонард, в некоторых своих проявлениях пережило все революции и перевороты XX в., обоснованно связывается ею не столько с общиной, сколько с домохозяйством, которое и выступало как своеобразный «атом» социальной структуры в деревне⁵⁰. С одной стороны, традиционная семейная собственность вовсе не была равнозначна частной (о чем часто забывают апологеты столыпинской реформы), с другой – семейное хозяйство было гораздо гибче передельной общины, обладая фантастической приспособляемостью к неблагоприятным внешним условиям и способностью ускользать от государственного контроля. Ещё раз подчеркну, что в отличие от американских семейных ферм российские домохозяйства никогда не были автономны. Помимо зависимости от латифундий вплоть до коллективизации многое в жизни крестьян определялось общиной, после неё – жёстким давлением государства.

Внимание экономистов, несомненно, привлекут эконометрические данные, проанализированные в последней главе книги. Автор использует для выявления динамики производительности сельского хозяйства за полтора века уровень «мультифакторной производительности» (total factor productivity, TFP), рассчитываемый с помощью индекса Торнквиста/Тейла. Смысл этого индикатора заключается в учёте вложений не труда и капитала, а других переменных, в частности агротехнических инноваций (новые сорта растений, удобрения и т.п.). Таким образом, TFP отражает главным образом инфраструктурные и технологические перемены. В результате его применения появляется возможность не просто диагностировать рост или падение объёмов сельскохозяйственного производства, но и выявлять причины той или иной динамики.

По отношению к дореволюционному периоду Леонард приходит к выводу, что стабильный рост в аграрном секторе, обусловленный структурными сдвигами в агротехнике, состоянии кредитного и земельного рынков, наметился задолго до столыпинских реформ. В целом темпы роста TFP в пореформенный период были впечатляющими: после спада 1860-х гг. в 1870-х гг. наблюдался средний ежегодный рост в 1.4%, в 1880-х – 0.8%, в 1890-х, после окончания мирового аграрного кризиса, – 1.41%, а в 1900-х – 1.97% (правда, автор признаёт крайнюю ненадёжность данных за 1860–1870-е гг.). Для сравнения – в Британии примерно за то же время рост TFP составил в среднем 0.4% в год, в США и Франции – около 0.8%. Само собой, в абсолютных цифрах Россия продолжала очень сильно отставать от западных стран⁵¹. После революции таких темпов роста TFP достигнуть уже не удавалось. Исключением стало

⁴⁹ Leonard C. Op. cit. P. 157–160, 271.

⁵⁰ Ibid. P. 125–137.

⁵¹ Ibid. P. 241–243, 254, 258.

десятилетие хрущёвских реформ, когда рост составил 1.2% в год (тогда как за 1965–1990 гг. – 0.12%). Наконец, провальные 1990-е гг. сменились устойчивым ростом последнего десятилетия⁵². Впрочем, о тенденциях последних лет Леонард говорит с большой осторожностью.

Что же объединяет все рассмотренные исследования? Прежде всего, на мой взгляд, – дух междисциплинарности. С одной стороны, экономические историки всё активнее и плодотворнее включают в сферу своего анализа социально-политические и идеологические сюжеты. С другой – становится всё более очевидным, что применительно к истории аграрных реформ, как и во многих других тематических «полях», традиционной историографии уже не обойтись без достижений экономики, социологии и антропологии. Остается только выразить надежду, что историография нашей истории будет обогащаться не только оригинальными подходами, но и новыми конкретно-историческими работами, и что методологическая пропасть между российскими и западными учеными, уйдя в прошлое, станет лишь ещё одним поводом для рефлексии будущих поколений ревизионистов.

⁵² Ibid. P. 253–255.

Власть и рабочие Урала: эволюция взаимоотношений в условиях Гражданской войны

Ольга Поршнева

Вопрос об участии рабочих в политической борьбе в годы Гражданской войны и об их взаимоотношениях с властью длительное время оставался предметом активного изучения отечественных исследователей. Однако в советской историографии многие аспекты этой темы не получили всестороннего освещения либо истолковывались тенденциозно. В 1990-е гг. в условиях введения в оборот значительного массива источников и утверждения научного и методологического плюрализма началось переосмысление данной проблемы, давшее импульс её дальнейшему изучению. Чуть ранее, в 1980-е гг., всплеск интереса к рассматриваемому периоду отмечался в западной историографии, когда данный сюжет стал предметом специальных исследований. Одновременно активно изучалась политическая история Гражданской войны, в том числе причины поражения антибольшевистских правительств на востоке страны, их политические и социальные программы¹. В настоящее время, по оценке В.Д. Камынина,

© 2013 г. О.С. Поршнева

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 11-11-6601а/У.

¹ *Фицпатрик Ш.* Гражданская война в советской истории: западная историография и интерпретации // *Гражданская война в России: перекрёсток мнений.* М., 1994. С. 344; *Новикова Л.Г.* Гражданская война в России в современной западной историографии // *Отечественная история.* 2005. № 6. С. 142–144; *Party, State, and Society in the Russian Civil War.* Bloomington, 1989; *Хопман Г.О. Перейра.* Сибирь: политика и общество в Гражданской войне. М., 1996; *Mawdsley E.* The Russian Civil War. Boston, 1987; *Holquist P.* Making War, Forging Revolution. Russia's continuum of crisis, 1914–1921. Cambridge, Mass.; L., 2002; *Joshua A. Sanborn.* Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925. Decalb, Illinois, 2003; *Кренер Э.* Западные взгляды на Гражданскую войну в России 1918–1920 годов. Обзор историографии последних двадцати лет // *Падение империи. Революция и Гражданская война в России.* М., 2010. С. 176–181.